PG3337
.G7
Z9

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3337
.G7
Z9

3/50

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00023753895

PG 3337
.G7
Z9

Проф. А. Н. ВЕСЕЛОВСКІЙ

Fl.

А. С. ГРИБОѢДОВ

(БІОГРАФІЯ)

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЗВѢЗДА" Н. Н. ОРФЕНОВА
МОСКВА

ТИПОГРАФІЯ
ЦВѢТНАЯ
СТЕРЕОТИПНАЯ

Г. ЛАНБЕРТЪ и Ко. МОСКВА
Серебряническая наб., д. 29.

Тел. 1-04-12.

Вскорѣ (в 1923 г.) исполнится сто лѣт с появленія одной из величайших русских комедій; настанет вслѣд за тѣм такая же, но глубоко печальная годовщина трагической, мученической кончины ея творца. Для позднѣго потомства все это—очень далекія даты. Независимый, сильный духом среди рабствующаго общества образ писателя-борца, стрѣлы его сатиры, направленныя против соціальнаго строя, казалось, давно омертвѣвшаго и похороненнаго, живыя когда-то и смѣлыя краски пьесы,—все должно бы уйти в сумрачную даль прошлаго, утратив свое обаяніе для пережившаго множество культурных, общественных, литературных переходов, перемѣн и теченій, современнаго быта, новой Россіи,—но яркою звѣздой горит, как встарь, „Горе от ума", сила смѣха и протеста будит и зовет впередъ поколѣніе за поколѣніем, и благородный, гражданственный, полный глубокой любви к народу, отечеству, свободѣ, облик Грибоѣдова, свято сохраняясь в памяти давно узнавшей и оцѣнившей его всенародной массы, войдет в новое столѣтіе в таком же, ничѣм не омраченном сіяніи, какое окружало его в истекающем вѣкѣ, который видѣл в нем одного из лучших, цѣльных людей во всей нашей общественной исторіи, в его словѣ—завѣт великаго предка грядущим вѣкам.

Не странно ли? Жизнь его была так непродолжительна, с большим вступленіем к ней, полным молодых увлеченій, исканій пути, завершившимся уходом надолго вдаль от отечества,—с тягостно длительным концом, когда бездѣйствовал необычайный талант, когда страстная, порывистая натура и сила мысли скрылись под непроницаемой

броней рыцарски-честной исполнительности служебной, снова на чужбинѣ,—работѣ писателя отдано лишь немного болѣе четверти всего жизненнаго срока, так скупо отмѣреннаго судьбой, и эта работа, правда, раскрывающая необычный ход идейной и общественно чуткой эволюціи, совмѣщается, как в высшем выраженіи, *в одной комедіи*. И все же этот даровитѣйшій человѣк, один из избранников русской мысли, творческой силы, народник и друг свободы, не только вошел в круг свѣточей родной литературы и общественности наряду с могучими их дѣятелями, оставившими людям великое и богатое наслѣдіе, но стал вѣрным спутником и другом стремящагося к свѣту русскаго человѣка, он встрѣчает каждаго из нас на порогѣ жизни с своим смѣлым, сильным, умным словом,—и благо тѣм, на кого это животворное слово сохранило силу среди зол, противорѣчій, несправедливостей, искушеній и терзаній нашей постылой жизни!

Это—тайна, своего рода волшебство, свойственные лишь необычайным натурам. Грибоѣдов и был такою феноменальной натурой. Сколько современников и свидѣтелей его жизни, удивляясь силѣ его ума, огню воодушевленія, благородству всей его личности, сходились в преклоненіи перед его культом правды, стоической твердостью и цѣльностью, и возлагали на него величайшія надежды для блага отечества, для красы его литературы! Рано встрѣтившійся с ним, едва выступившимъ в качествѣ писателя, и уже пораженный его высоким жизненным идеалом и силой мысли, Пушкин признавшій в нем-юношѣ „человѣка необыкновеннаго“, „одного из самых умных людей в Россіи“,—поэт Баратынскій, в прекрасном стихотвореніи изобразившій Грибоѣдова среди безвременья послѣдних александровских лѣт и казарменной николаевщины томимым „тягостной жизнью, в сердце бьющей могучею волной и в грани узкія втѣсненною судьбой“,—декабрист Александр Бестужев, горячо обрисовавшій въ нем человѣка с катоновской суровостью презрѣніем к низкой искательности, лести и обману, с „благородной наружностью, мужественным, выразительным лицом, в котором всегда играла кровь

сердца", с мѣткими сужденіями, которыя невольно увлекали и очаровывали,—первый его біограф Ксенофонт Полевой, сберегшій из личнаго с ним общенія много этих „сужденій" о литературѣ, искусствѣ, политикѣ, о свсбодѣ воли, власти человѣка над собой,—изумлявшійся широтой его развитія, стремившійся достойно передать обаятельное впечатлѣніе его рѣчей, которыя сверкали независимостью, оригинальностью, остроуміем, - его друзья, главари декабрьскаго возстанія, высоко ставившіе его, как гражданина и писателя первой величины, и не открывшіе ему всей своей тайны, потому что „берегли его", увѣренные, что он талантом своим принесет отечеству величайшую пользу на другом поприщѣ,—всѣ сходятся в признаніи этой необычайной силы. Она пришлась не ко времени, не к народу, не к общественному строю, и погибла; родник благороднаго смѣха изсяк, мощная душа отлетѣла, но, когда возможно будет создать *исторію энергіи* в Россіи, в самом широком смыслѣ слова, имя Грибоѣдова будет одним из лучших ея украшеній.

Рано сказались в нем, отрокѣ, подросткѣ (родился Александр Сергѣевич в 1795 году), яркая даровитость, страстность темперамента, независимые полеты ума. Он рвется на волю из затхлой среды стараго, столбового московскаго барства, окружившей его с дѣтских лѣт подлинниками Фамусовых, Хлестовых, Хрюминых, готовых направлять его в духѣ сословных преданій, рабской приниженности, умственной косности. Многое понял он, во многом усомнился в тѣ годы, когда для других еще длится невинное дѣтство. Вразрѣз с обычными пріемами барской касты, о его воспитаніи заботятся. Честолюбивая мать не может примириться с захудалой участью своего рода, нѣкогда знатнаго, возлагает на своего первенца, любимца, избранника, миссію его возрожденія, и намѣчает новый, культурный путь, в стилѣ начинающейся александровской эры,—завоеваніе карьеры при помощи образованія, таланта, высокой работоспособности; вдали ей грезится для него будущность дипломата, министра, царедворца. На сына изливаются, к удивленію и порицанію близких, педагоги-

ческія заботы; хорошее начальное, домашнее воспитаніе, особенно успѣшное в руках умнаго иностранца Іона, оставшагося впослѣдствіи, на всю жизнь своего ученика, его вѣрным другом, котораго он всегда стремился увидать в Москвѣ по возвращеніи из дальних странствій раньше матери, сестры, ближайших родных, — частныя занятія с московскими профессорами на дому, о которых говорит преданіе, — поступленіе в Благородный Пансіон при Московском университетѣ, старый и испытанный разсадник замѣчательных русских писателей, от Жуковскаго или Николая Тургенева до Лермонтова и Салтыкова (когда пансіон доживал свой вѣк в видѣ Дворянскаго Института),— наконец в университет. Процесс этого воспитанія, задуманнаго для пріобрѣтенія внѣшне - культурнаго лоска, цивилизованной огранки юнаго quasi - аристократа, послужил для него иным, высшим цѣлям. Он спас его от вліянія среды, освободилъ его ум, развил критическое, строгое отношеніе ко всѣму складу, строю, духу жизни отечества, идеи гражданственности, любви к народу, отпора всякому гнету и произволу, — в то же время побудил его (как Чацкаго в великой комедіи) в „науки вперить ум, алчушій познаній", отдаться „возбужденному в душѣ его самим Богом жару к искусствам высоким и прекрасным". Шесть с половиной лѣт, проведенных им в университетѣ, послѣдовательно на трех факультетах, — знаменательная побѣда, одержанная над властными намѣреніями матери, которая не могла не видѣть, как разбиваются ея планы, и не к свѣтской будущности, а к самостоятельным цѣлям знанія, развитія, идет юноша, придали ему навсегда отпечаток серьезнаго, глубокаго образованія, так отличавшаго его от всѣх выдающихся современников его в литературѣ.

И не вліяніе товарищества, два десятилѣтія спустя ставшаго, в студенческіе годы Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена, важным фактором и опорой научнаго и философскаго развитія, сказалось тут,—такого идейно возбужденнаго круга друзей и сверстников в усвоеніи науки Грибоѣдов не знал, —но непосредственное вліяніе того подбора представителей ея, той группы авторитетных, сознавших обязанность

вести ея пропаганду в обновлявшейся русской средѣ профессоров, которая вступила в университет послѣ важной реформы его (1804 г.), дѣятелей русской, но в особенности иностранной науки, и во главѣ их важнѣйшаго просвѣтителя Грибоѣдова, Буле, вызваннаго из Германіи в Москву в расцвѣтѣ своей ученой и педагогической дѣятельности. Кромѣ двух профессоров, которым много обязано было славное поколѣніе тридцатых годов, ему, по строгому приговору такого свѣдущаго и культурнаго наблюдателя, как кн. Владим. Одоевскій, „не у кого было учиться". В началѣ вѣка условія были иныя. Свободное, пытливое отношеніе Грибоѣдова-студента к наукѣ находило высокое удовлетвореніе в учительном словѣ нѣсколькихъ компетентных, истинных ученых, выдвигавшихся из ряда средних, преимущественно туземных, дарованій, оставшихся все же свободным от педантизма и обскурантства. Философ, эстетик, ранній предтеча исторіи всеобщей литературы, как одного из основных предметов образованія в русской высшей школѣ, Буле один уже мог оставить глубокій слѣд на развитіи ученика своего, как будущаго писателя, вызывая его к изученію драматическаго творчества мірової словесности (излюбленному предмету его собственных изслѣдованій), в особенности великих созданій - комедіи, и словно указывая ему тогда же путь для главнаго дѣла его жизни. С большой прозорливостью оцѣнив способности его, он привлекал его к спеціальным, частным занятіям с ним, внѣ университета, увлекался возможностью сформировать и закалить его ум. Это воспитывающее вліяніе (котораго мы не находим напр. в юности будущаго замѣчательнаго фило, софа исторіи, творца еретической ея системы, Чаадаева прошедшаго тогда одинаковую с Грибоѣдовым университетскую пору) дѣлили с Буле другіе научные дѣятели, помимо литераурнаго или филологическаго образованія; Грибоѣдов, увлеченный историк и археолог или чуткій к общественным вопросам и нуждам экономист и статистик, впослѣдствіи, на Кавказѣ, умѣло прилагавшій к жизни свои знанія не даром прошедшій курс „этико-политическаго факультета" — ряд богатых разновидностей необыкновенно воспріимчивой, на все культурно - важнѣйшее отзывавшейся натуры.

Так из отпрыска барской семьи вырабатывался преданный наукѣ энтузіаст, готовый посвятить ей себя всецѣло. В таком драгоцѣнном, недавно открытом, его признаніи, как то, которое он сдѣлал впослѣдствіи в своем прошеніи об отставкѣ, возстановляя ход предшествующей жизни, он говорит, что „по окончаніи университета был готов к испытанію на званіе доктора". Но с сильно возбужденными влеченіями ученаго тогда уже спорила сильнѣйшая страсть и рѣшающая способность, — творчество, мечтанія художника, искателя, дѣятельность литератора, для которой запас пріобрѣтенных знаній, развившій независимость, смѣлость, простор мысли, призван был послужить важной опорой. Состязаніе науки и творческих стремленій сказывалось все опредѣленнѣе к концу университетской поры. Гоголя, на рубежѣ его недолгих, к счастью, попыток примучить себя к труду спеціалиста-историка властно стала манить к себѣ от лекцій и книг, доходившая до настоящих грез на яву, картина театральной залы, в:енародный пріем его комедіи, смѣх и плеск толпы, и он покидал ученыя свои бредни, чтоб отдаться чарам сцены. Грибоѣдов, на котораго могли дѣйствовать обаятельно и высокій уровень исполненія комедій на московском театрѣ, обставленном блестящими силами, и собственное, по преданію очень талантливое, участіе в студенческих театральных представленіях, организованных проф. Страховым, ставших почти вспомогательным университетским учрежденіем, и широкое знакомство с міровой исторіей комедіи, которым он был обязан Буле, испытывал повидимому такой же процесс. Товарищи его по университету запомнили, как читал он им не только „стихи своего сочиненія, большею частью сатиры и эпиграммы", но опыт комедіи, осмѣивавшей высшее московское общество, в которой впослѣдствіи они признали первообраз „Горя от ума", отразившій в себѣ, как можно догадываться, особенно острый приступ недовольства окружающим, осужденіе его, с сатирическими набросками лиц, наиболѣе ему ненавистных, и прежде всего такого великосвѣтскаго туза, слитаго из гордыни и холопскаго униженія, как оригинал будущаго Фамусова, родной дядя молодого писателя. Он,

конечно, пока в состояніи был скорѣе осмѣять закулисную сторону жизни людей, занимающих вліятельное положеніе и в то же время ничтожных, пошлых, порочных, чѣм понять склад их воззрѣній, проникнуть в их философію и житейскую мораль, возсоздавать их характеры. Но появленіе этого произведенія, неразлучнаго с ним потом в теченіе многих лѣт, в первых контурах при самом вступленіи в сознательную жизнь и самостоятельную дѣятельность ума очень знаменательно.

Но это вступленіе в жизнь совпало с порою общенароднаго бѣдствія, наполеоновскаго нашествія, отечественной войны. Молодым ученым и начинающим литератором завладѣло искреннѣйшее, глубокое чувство любви к отечеству и народу, одна из властных сторон его характера. Он считал бы безчестным, недостойным уклониться от защиты родины. Сохранившійся план его пьесы, в которой он задумывал воспроизвести событія 1812 года и отношеніе к ним общества, говорит о негодованіи, возбужденном в нем проявленіями постыднаго равнодушія, пассивности, трусости, нравственнаго растлѣнія в столь грозные дни. В романтическом возвеличеніи старины он хотѣл призвать в ночной сценѣ, разыгрывающейся в Архангельском соборѣ, тѣни древних русских героев, начиная с Святослава, и выставить их мужество, удаль, и боль о несчастіях родной страны, в контрастѣ с паденіем его современников, и в различных моментах пьесы думал изобразить обратную, позорную сторону мнимо-всенароднаго подъема обороны и борьбы, „всеобщее ополченіе без дворян“, „прежнія мерзости“, сдѣлав таким образом и эту, казалось, патріотическую пьесу рѣзким обличеніем общества.

При таких условіях дѣйствительности стали немыслимы прежнія мечты и влеченія. Над наукой, над „искусством высоким и прекрасным“, взял верх долг гражданина, призывавшій в ряды защитников Руси. Преодолѣв и в этом волю матери, Грибоѣдов рвется на войну, записывается в один из добровольческих отрядов, гусарскій полк, набиравшійся графом Салтыковым, негодует на медлительность формированія полка, на порвавшій надежды перевод его вдаль от Москвы, в Казань, на такую неожиданную

помѣху, как смерть Салтыкова, принужден вынести перечисленіе свое в другой полк, предназначенный в резервную армію, лишен возможности активной борьбы с непріятелем. Порыв не удовлетворен, „вся поэзія великих подвигов исчезает“ (как он выразился в программѣ своей пьесы); преслѣдованіе Наполеона и его полчищ по Европѣ нисколько не привлекает его. Разочарованный, недовольный, он должен был бы искать возможности возвратиться к покинутым им влеченіям и высоким умственным интересам,—но этого не дѣлает, и пролог к его писательству и интеллигентному труду прерывается на два года военной службой, без походов и битв, проходившей сначала в далеких, глухих захолустьях сѣверо-западной Руси и Литвы,—службой, которая в первые мѣсяцы была даже скорѣе прожиганіем, растратой жизни, когда муза его, казалось, безнадежно замолчала и умственные интересы замерли.

Но то был лишь взрыв его горячей, страстной натуры, сдерживавшейся прежде благоприличіем барской среды, чопорным вліяніем матери, — отместка молодых сил, быть может, и ребячески безцѣльный протест против застоя и спячки, наконец стремленіе наполнить неудержным размахом воли и причуды присужденную ему участь кочевника - армейца, которому назначено прозябать безвѣстно в глуши, послѣ того как мечталось о большом народном дѣлѣ. Возлѣ него не было никого, кто бы обязывал его „казаться основательным“, и, как Лермонтов в гулящую пору юнкерской школы, он отдался было тому, что снисходительный жаргон тѣх времен называл „гусарскими шалостями“. Но, как у позднѣйшаго поэта среди бурнаго угара хранились завѣтныя душевныя движенія и творческія мечты, и с юнкерством совпали и рост „Демона“ и глубокій лиризм стихотворной исповѣди, у Грибоѣдова, очнувшагося от чада, который продержался, по его исчисленію, лишь четыре мѣсяца (правда он увѣрял потом, что, проведя их „в этой дружинѣ“, он будто-бы „четвертый год не мог попасть на пути истинный“), пробились снова прежнія влеченія, — если не научные помыслы (которым отдаваться в данных условіях было бы безполезно), то литературные планы, культурное рвеніе.

Переход его из разных Слонимов, Кобринов, в Брест, гдѣ он очутился в штабѣ кавалерійских резервов, с удачным составом офицерской молодежи новаго типа, людей, „крѣпко зараженных", по Скалозубовскому выраженію, „теперешним столѣтьем", группировавшихся вокруг своего отца-командира, — также характернаго представителя той военной аристократіи, из которой вскорѣ пополнялся состав дѣятелей декабризма, гуманнаго и образованнаго генерала Кологривова, он несомнѣнно переживает нетолько духовное возрожденіе, способное вернуть его к покинутому культурному уровню, но такое обновленное состояніе, которое поведет его к цѣлям и мыслям, прежде, быть может, негаданным или недостаточно сознанным,—мыслям об общественном служеніи, об активном участіи в борьбѣ не с внѣшнем только врагом, но со всѣм, что повинно в угнетеніи, застоѣ и тьмѣ родного народа. Военная служба, врѣзавшаяся странным клином в судьбу Грибоѣдова, с разнузданным своим началом и собираніем, формированіем сил в концѣ, с нравственной работой над собой, в которой он встрѣтил поддержку в одном из своих товарищей еще по безпардонной кавалерійской жизни, замкнутом, несложном, но глубоко честном Степанѣ Бѣгичевѣ, который раньше очнулся и повлек за собой Грибоѣдова, отгадав совершавшійся в нем такой же процесс и оставшись для него навсегда образцом рыцарской прямоты и лучшим другом,—эта служба, закончившаяся разрывом с нею, отставкой, переходом в Петербург, в коллегію иностранных дѣл, образует собою пролог к вступленію в ряды дѣятелей литературы и ревнителей общественности, совпавшему с усиленіем реакціи послѣ европейских походов. Позади, в недалеком прошлом, была жизнь среди „казарменных Готентотов", не мало пригодившаяся потом для „Горя от ума" (оригиналы Скалозуба и его двоюроднаго брата - вольнодумца, Платона Михайловича, даже Репетилова; самому Чацкому, как и автору пьесы, удѣлена вначалѣ военная карьера, „увлеченіе мундиром", штабное пріятельство с Горичевым и т. д.), затѣм отрезвленіе в „обществѣ умных" (как называл потом Пушкин подобный, важный и для него интеллигентный кружок в столицѣ), первыя литературныя

работы новаго типа, опять в драматической формѣ (передѣлка французской комедіи „Молодые супруги“, законченная въ 1815 г. в Брестѣ) или же корреспонденціи в „Вѣстникѣ Европы“ Каченовскаго о брестских новостях,— напр. о культурном праздникѣ в честь Кологривова. Впереди — среда развитых, благородно мысливших, преданных родинѣ и свободѣ, людей, подобных которым он не встрѣчал, среда, гдѣ сходился он с Пушкиным, Чаадаевым, братьями Тургеневыми, с дѣятелями масонских лож, возрождавшихся тогда с новой, политической программой, и других интеллигентных кружков и салонов, предвѣстников первых тайных обществ александровской поры, Союза истинных и вѣрных сынов отечества и др.

Два с половиной года (март 1816 — сентябрь 1818), проведенные в Петербургѣ, оставили замѣтный слѣд и в развитіи гражданственных его идей, и в писательской дѣятельности. Он застал мір литературы и театра раздѣленным на партіи прогрессистов искателей новых форм и путей, и націоналистов - охранителей народности и старины, с неспущенными еще знаменами Карамзина и Шишкова, Арзамаса и Бесѣды,—партіи, замѣненныя затѣм распрями и борьбой классицизма и романтизма. Вѣрный уже тогда основному принципу своей жизни, который во время полемики, разгорѣвшейся из-за „Горя от ума“ с его литературно-революціонными новшествами, он выразил в характеристической формулѣ: „я как живу, так и пишу свободно и свободно“, он проходил между враждебными станами, не поступаясь ни в чью пользу независимостью своих взглядов и сочувствій, близкій и солидарный в иных отношеніях с эстетикой и литературной догмой людей, на которых лежал отпечаток отсталости и консерватизма, тогда как он сходился с ними лишь на почвѣ народности,— соединяя пониманіе восходившаго пушкинскаго генія и вѣрность завѣтам и великим образцам общечеловѣческой литературы с руссофильством Бесѣды,—прислушиваясь с интересом к эстетическим приговорам Катенина (сдѣлавшагося вскорѣ сотрудником его в литературной работѣ) с его доктринерством классика - критика и с похожими на грибоѣдовскія воль-

ности комбинаціями, когда Катенин переводил, соперничая с романтиком Жуковским, баллады Бюргера, ранняго предтечи нѣмецкаго романтизма, предсказавшаго его своей „Ленорой",—и все время предаваясь самостоятельным исканіям. За небольшими исключеніями в сторону стихотворства, живого, остроумнаго, служившаго рѣзким полемическим орудіем против ложнаго вкуса (стихотвор. „Лубочный театр", пародія на комика Загоскина и его направленіе), исканія эти вели его к идеалу комедіи, словно предназначенному ему судьбой. От новых переработок французских пьес („Притворная невѣрность") к опытам бытовой комедіи, живо отражающей современность, они и в содержаніи и в формѣ, постепенно вырабатывавшей несравненный и неподражаемый „грибоѣдовскій" стих лучшаго его творенія, он шел вперед, быстро прогрессируя.

Сатира прозаической пьесы „Студент", написанной в сотрудничествѣ с Катениным, соединила насмѣшку и юмор нападок на вычуры чувствительности и романтизма в лицѣ семинариста - стихоплета Беневольскаго с изображеніем барства и крѣпостничества, и дала ряд первообразов для персонала „Горя от ума" (Звѣздов — будущій Фамусов, у Беневольскаго—молчалинскіе пріемы, Саблин дает avant - goût Скалозуба), тогда как в несомнѣнно Грибоѣдовском вкладѣ в стихотворной комедіи, написанной также в складчину с такими признанными в то время драматических дѣл мастерами, как кн. Шаховской и записной мольерист Хмельницкій, „Своя семья или замужняя невѣста", ярко выдѣляется из чужой рамки бытовым содержаніем, жизненностью характеров (старая дѣва—скопидомка, на первый взгляд словно выхваченная из галлереи екатерининских комических образов и все же оргинально разработанная, и бойкая молодая дѣвушка, надѣвающая на себя, чтобы побѣдить упорство старшаго женскаго поколѣнія, маску послушанія и скромности), и в особенности непринужденной, свободно звучащей комической рѣчью, от которой лишь шаг до стиха „Горя от ума". Но и само оно, завѣтный замысел — спутник жизни, двинулось тогда вперед к своему воплощенію; в 1816 г. набросано было из него нѣсколько новых

сцен и начата обдѣлка всей комедіи,—ея вторая редакція, на отличія которой указывают нѣкоторыя частности, сбереженныя традиціей, которая шла от людей, слышавших чтеніе ея автором в Петербургѣ и потом на Кавказѣ (роль Чацкаго, невполнѣ еще выясненная в ея общественном смыслѣ, отсутствіе одних дѣйствующих лиц, напр. Репетилова, излишество других, вродѣ жены Фамусова, от характеристики которой осталось три, четыре мѣста в окончательном текстѣ, и т. д.). В этих литературных выступленіях еще не могли проявиться во всей полнотѣ сильный оригинальный талант и дѣятельная работа независимой мысли; все было в будущем. Его не могли не замѣтить в обществѣ; его остроуміе, горячія вспышки правдолюбія, „катоновская суровость“ его отзывов о порочном, безчестном, губительном для народа, вмѣстѣ с тѣм строгость к самому себѣ („вы меня хвалили, как автора, а я именно как автор не произвел ничего истинно изящнаго“, писал он Булгарину) внушали немногим, способным тогда оцѣнить его, прежде всего Пушкину, убѣжденіе, что его ожидает славное призваніе. Но в общество вступил он не с одними стремленіями прокладающаго себѣ путь писателя или дѣятеля общественнаго. Жизнь манила и возбуждала его страстную натуру, и, словно раздваиваясь, наполнила эти вступительные годы многими увлеченіями и излишествами страстей; круги свѣтскіе, и, еще болѣе, театральные, связанные для него к тому же с любимой областью писательства, драматургіей, были их ареной. Суровый Катон, строгій комик-обличитель, политик и гражданин отдавался порою бурным, полным самозабвенія, порывам темперамента; в любви (как он, впослѣдствіи, выразился, в недолгіе дни истиннаго счастья, вспоминая былое) он „чернѣе угля выгорѣл“. Не принадлежа, как напр. Лермонтов в ранней молодости, к какой-нибудь bande joyeuse, которая вовлекала бы его в свои похожденія, он мог все же имѣть общее с свѣтской золотой молодежью; возвращался как будто, налетами, угар гусарских шалостей,— и Грибоѣдов пережил, подобно Пушкину, свой „лицейскій період“, расколотый на сказочный прогресс художественности, политическую возбужденность, и горячку страстей.

Здѣсь ждала его катастрофа, разом, и надолго, порвавшая начавшіяся проявленія его таланта и мысли, завоеванія жизненной задачи. Кровавая исторія, разыгравшаяся среди близких его знакомых,—поединок Шереметева с Заводовским, соперников в любви к знаменитой тогда танцовщицѣ Истоминой, воспѣтой Пушкиным в „Евгеніѣ Онѣгинѣ", и рѣшенная в принципѣ двойная дуэль между секундантами, будущим декабристом Якубовичем и Грибоѣдовым, смерть Шереметева, убитаго почти наповалъ, и весь трагическій, клокочущій характер этой борьбы, произведя сильнѣйшее впечатлѣніе в „свѣтѣ" и в правящих кругах, вообще как-то особенно огласившись, ворвались в судьбу молодого дипломата, который не понес никакого наказанія, но по рѣшающему взгляду матери, должен был на время скрыться с глаз свѣта и высшей власти и принести искупительную жертву.

Насильно вырванный, несмотря на всѣ его попытки противодѣйствія (в глазах матери затѣянная перемѣна могла даже послужить всей семьѣ на пользу, улучшивъ ея матеріальное положеніе) изъ культурной среды, от связей с передовыми интеллигентными силами и начавшимся общественным движеніем, обреченный на ссылку на чуждый ему Восток, не манившій его ни великим прошлым, ни жалкой современностью, Грибоѣдов, испытав уже превращеніе из аспиранта науки и новичка - писателя в лихого кавалериста, затѣм в департаментскаго дипломата, выносит новую метаморфозу, и в, качествѣ секретаря посольства в Персіи, уходит надолго из русской жизни. Перед ним, казалось, годы одиночества, безлюдія, среди варварской, отсталой, первобытной страны, словно медленное умираніе послѣ горячо понесшагося жизненнаго тока. С большою грустью покидал он Россію. Сначала захватила его новизна и заманчивая прелесть далекаго, долгаго странствія, горных чудес Кавказа и персидскаго хребта, знойных долин и сказочной флоры Ирана, пестрота и оргинальность быта края, по которому „секретарь бродячей миссіи" долго отыскивал слѣды ея в постоянных ея передвиженіях, вызванных народным броженіем, возстаніями, шаткостью принужденнаго

кочевать правительства. „Год с нѣсколькими днями", по его же словам, ушел на неустанную скачку верхом по горам и долам невольно узнанной им страны, которую он изъѣздил из конца в конец. Но настало время и для осѣдлости, жизни изо дня в день, для постылой, неинтересной службы в захолустном углу сѣверо-западной Персіи, Тавризѣ, гдѣ нѣсколько кучек европейских дипломатов акредитовано было при фактическом главѣ персидских иностранных сношеній, Аббасѣ-мирзѣ,—Тавризѣ, точно вырубленном в скалѣ, изрытом буераками, среди которых гнѣздятся люди, и прозванном им „дипломатическим монастырем". Но годы восточной ссылки сложились совершенно иначе, чѣм он мог предполагать, и дали важные результаты. „Трехлѣт ее пребываніе в Персіи и уединенная жизнь в Тавризѣ сдѣлали Грибоѣдову большую пользу", утверждал потом Бѣгичев в цѣнной біографической запискѣ, написанной под вліяніем своих воспоминаній и матеріалов, данных его великим другом; „сильная воля его укрѣпилась, всегдашнее его любознаніе не имѣло уже преграды и разсѣянія. Он много читал по всѣм предметам, по всѣм отраслям наук, и много учился". Но выше успѣхов общаго развитія и необъятнаго чтенія, выше быстро осуществлявшагося востоковѣдѣнія, открывшаго ему, с знаніем языков, персидскаго, арабскаго, красоты творчества и исторію тѣх краев, куда занесла его судьба,— того оріентализма, в котором, к концу жизни, он уже являлся одним из лучших знатоков в Россіи, — стоит его самовоспитаніе, закал духа, ясное сознаніе своего долга по отношенію к отечеству, из котораго доносились к нему вѣсти об усиленіи реакціи, нестерпимых условіях жизни, сплошном мракѣ, надвигающемся на него,—и созрѣвшее стремленіе противодѣйствовать этому сильным словом и смѣлым обличеніем.

В персидском уединеніи, в третій и послѣдній раз возвращается он к замыслу своей комедіи, которая именно тут получает окончательный вид. Как преобразилась она, испытав сосредоточенное вліяніе сильно развившагося искусства и зрѣлой мысли! Наединѣ с своими думами, он глубже вникнул в смысл избранной им когда-то фабулы, возвел

многіе характеры, сначала набросанные чуть не с натуры, до типическихъ образовъ, расширилъ и живо воплотилъ отталкивающую среду, въ ея безсмысленной и нетерпимой враждѣ къ свободѣ, гуманности, знанію, изъ лучшихъ свойствъ единомышленниковъ своихъ и друзей сложилъ типъ Чацкаго, сдѣлалъ его защитникомъ прогресса, національнаго и общественнаго самосознанія, лучшимъ представителемъ передового поколѣнія современниковъ, ближайшимъ предтечей декабристовъ,—и въ то же время своимъ двойникомъ, выразителемъ, глашатаемъ завѣтныхъ своихъ убѣжденій. Чѣмъ болѣе развивался самостоятельный складъ воззрѣній поэта, тѣмъ совершеннѣе становилось художественное воспроизведеніе его въ Чацкомъ, выступающемъ въ искони трагической и злополучной долѣ единоличнаго борца противъ всего общественнаго строя, борца, взывающаго къ поддержкѣ и участію въ своемъ выступленіи такихъ же, какъ онъ, „мечтателей опасныхъ". Кровью сердца писались негодующія, гнѣвныя рѣчи Чацкаго. Для нихъ (какъ и для всего его образа) Грибоѣдовъ могъ найти созвучную поддержку въ сродныхъ характерахъ, которые дала міровая литература (прямодушныя и боевыя рѣчи мольеровскаго Альцеста въ „Мизантропѣ", которымъ онъ увлекался еще въ университетѣ, выполняя даже главную роль на студенческой сценѣ, — или протестъ Демокрита, героя романа Виланда „Исторія Абдеритовъ", противъ застоя, невѣжества и беззаконія соотечественниковъ, за который они мстятъ ему, какъ Чацкому, признаніемъ его сумашедшимъ), но она только усиливала и возбуждала въ немъ то, что глубоко продумано и выстрадано было самимъ поэтомъ, изъ своего сиротливаго далека откликавшимся на то, чѣмъ мучились и съ чѣмъ среди потемокъ реакціи боролись на родинѣ друзья. А противъ Чацкаго-отщепенца, обступая его плотнымъ строемъ, увѣренные въ крѣпости дорогого имъ порядка вещей, и въ своей правотѣ, ярче и реальнѣе, чѣмъ когда-либо, стали вырисовываться давно намѣченныя, но не получавшія еще окончательной творческой лѣпки, послѣ которой начнется для нихъ художественное безсмертіе, главныя лица персонала комедіи,—прежде всего обитатели фамусовскаго особняка и Скалозубъ, заполняющіе собой вмѣстѣ съ Чацкимъ два начальныхъ акта пьесы, оконченные вчернѣ въ Тавризѣ.

Тоскуя в нем, испытывая порою острые приступы меланхоліи, неудовлетворенности жизнью, постоянно порываясь из своей почетной ссылки на волю, ближе к родным предѣлам, А. С., которому иногда удавалось покидать Персію для кратких побывок в Тифлисѣ, сумѣл наконец достигнуть цѣли. Он плѣнил своим спокойным мужеством верховнаго владыку Кавказа, Ермолова, в котором проконсул, военный диктатор, гроза горцев, легендарный солдат-богатырь соединялся с чутким к общественным идеям, впослѣдствіи оставшимся подозрительным Николаю по тайному сочувствію декабризму, и хорошим отгадчиком способных, культурно-полезных людей,—когда, добившись послѣ долгой, настойчивой борьбы возвращенія русских плѣнных, задержанных персидскими властями, он стал во главѣ толпы несчастных, изнуренных, едва прикрытых лохмотьями, и, не боясь нападеній, вел эту колонну до границы, с волненіем прислушиваясь к родным пѣсням, которыя затягивали путники в горах и ущельях Персіи, и еще болѣе тоскуя по родинѣ. Ермолов и раньше, почуяв в нем необыкновенныя дарованія, рѣшил повліять на его участь, удержать его при себѣ, выхлопотал в Петербургѣ назначенія его секретарем по иностранным дѣлам при Кавказском главнокомандующем и, разом разрубив связывавшія Грибоѣдова путь, стал его избавителем. В 1822 г. он переселился в Тифлис, гдѣ окружили его условія новаго, почти невѣдомого им края, благу котораго пришлось ему со временем отдать так много сил и забот, и гдѣ вмѣстѣ с тѣм его высшіе интересы и влеченія, казалось, могли находить удовлетвореніе среди кучек и групп образованных людей, с которыми он надѣялся обмѣниваться мыслями о волновавших его вопросах, с книгами, возможностью отдаваться любимому искусству, музыкѣ и импровизаціям,—и своему важнѣйшему литературному замыслу. Но грустное раздумье и гнетущая меланхолія, нажитыя в годы одиночества на чужбинѣ, не только не покинули его среди измѣнившихся условій, но порою доходили до болѣзненнаго натиска (слѣды остались в элегических его стихотвореніях), не разставаясь с ним до конца дней,

и от ипохондрических приступов доходя до порывов избавиться от бремени жизни самоубійством. Личная неудовлетворенность, недовольство своей судьбой, сознаніе невыполняемаго им долга и недочетов своей общественной стоимости, душевная тоска, соединялись с болью об участи отечества. И, в постоянном контрастѣ с этой подавленностью, тѣм сильнѣе проявлялся теперь боевой задор сатиры, остроумія, комизма, писательская работа спорилась, хотя в ближайшем окруженіи Грибоѣдова, кромѣ Кюхельбекера, не было,—как и в Тавризѣ,—литературно чутких людей, не было среды, которая могла бы поддержать его.

Преодолѣвая всѣ помѣхи, он подвигался вперед с комедіей, и первая половина „Горя от ума“ в законченном, бѣловом видѣ была дописана в Тифлисѣ. Но для тѣх ея актов, в которых должно было обрисоваться состояніе общества, у него недоставало красок; пять лѣт, проведенных в дали, затуманили воспоминанія о людях и нравах сѣвера, о современной Москвѣ. Если, с трудом вынеся четырнадцать мѣсяцев Кавказскаго житья, он рѣшил войти наконец в глубину подлинной русской жизни, поводом к тому были и желаніе увидѣть родину, в каком бы угнетенном состояніи она бы ни находилась, — и сознанная комическим писателем необходимость пополнить наблюденія над общественным состояніем, успѣвшим, как он слышал, во многом измѣниться хоть и не к лучшему. Благодаря новому содѣйствію Ермолова он получает сначала кратковременный отпуск, который с отсрочками разростается почти до двухлѣтняго пребыванія на сѣверѣ. В началѣ 1823 года Грибоѣдов в Москвѣ. Настает важнѣйшее, блестящее время его жизни.

Перед обществом и правительственной системой послѣдних лѣт александровскаго царствованія предстал их строгій и смѣлый судья; со всѣх сторон хлынули на него, несравнимо ни с кѣм из современных писателей зоркаго наблюдателя, отталкивающія черты упорнаго стараго начала владѣвшаго умами большинства и поддерживавшаго политику Аракчеевых, Магницких, Голицыных, и, в противовѣс, как признаки поднимающагося броженія, проявленія освободительных идей, рѣчи и мысли проповѣдников избавленія,

новых, лучших людей, со всѣми задатками подвижничества, — все то, что ему издали было уже знакомо, что волновало или возмущало его, и теперь, застигнутое вблизи, облеченное в плоть и кровь, ярко обрисовывалось и звало к вмѣшательству. Родственныя, дружескія связи, сознаніе возврата на старую, родную почву могли занять его на первое время послѣ пріѣзда. Но нетерпѣніе сатирика-художника и гражданина вызывало к дѣлу. С непривычной ему настойчивостью стал он посѣщать всякія общественныя собранія, являться в свѣтѣ, замѣшиваясь в его толпу, проникать в гостиныя, на балы, съѣзды, завязывая много знакомств. Матеріал для наблюденій был неистощим; он наполнил подлинной жизнью дня задуманные образы, от главных лиц комедіи до свѣтской тли или репетиловской клики, от дѣятелей авансцены до второго или третьяго плана политических подмосток, который то и дѣло раскрывался за главным дѣйствіем, как фон реакціи. Они всѣ ожили в рядѣ превосходных п о р т р е т о в („портреты, и только портреты входят в состав комедіи и трагедіи", говорил он, признавая высшую их форму в образованіи типов, когда в извѣстных образах „есть черты, свойственныя многим другим лицам, а иныя всему роду человѣческому") и картин современности, вырѣзывающихся в рѣчах, разсказах, діалогах фамусовскаго „свѣта", отражая новѣйшія реакціонныя дѣянія, поход против науки и знанія, гоненіе на университеты и литературу, свирѣпства цензуры, тупость милитаризма, торжество крѣпостничества над освободительными химерами начала вѣка. Перед лицом этой коснѣющей среды рѣзче прежняго осмысливался, одухотворялся образ Чацкаго с его невоздержными рѣчами, проповѣдью взглядов и убѣжденій самого поэта, убѣжденій, в созвучіи с декабристской программой сочетавших преданность народному благу, искреннее желаніе національной самобытности, русскаго самопредѣленія, с вѣрой в жизненность основ европейской и общечеловѣческой культуры, просвѣщенія, свободы, с былыми, пушкинскими, надеждами на „зарю свободы просвѣщенной", которую даст умная власть, с рѣшительным разочарованіем в ней (даже Молчалин знал про Чацкаго о его „связи с министрами, потом разрывѣ") и

упованіем лишь на движеніе в самом обществѣ, — и, впереди, с трагической участью страданія за независимость мысли, на которое так выразительно указывало и первоначальное названіе комедіи, — „Горе уму"! — к сожалѣнію, уступившее мѣсто иному, значительно слабѣйшему, в котором утрачен общій, горестный смысл, приложимый всюду к человѣческой жизни.

Но идейная, общественная сущность комедіи-сатиры, в которой так горячо бился пульс нараставшаго освободительнаго движенія, соединялась с высоким художественным мастерством характеристики и психологіи, искусством не только связать лица и отношенія живым узлом комической фабулы, но и трагическаго злополучія, которое выпадет на долю Чацкаго, сходящагося в этом с мольеровским Альцестом, и в негодованіи порывающаго с возставшим против него обществом, в котором „всѣ гонят, всѣ клянут его", — чудесами невѣдомой дотолѣ у нас и совершенно самостоятельной комической техники, которую Грибоѣдов блестяще отстаивал потом в замѣчательном письмѣ к Катенину, обрушившему на него много возраженій и осужденій от имени критических „правил" (Пушкин, наоборот, любовался этой свободой, находя, что „писателя драматическаго слѣдует судить по тѣм законам, которые он сам себѣ поставил"), богатством остроумія и оригинальнѣйшим „грибоѣдовским" слогом с врѣзавшимися потом навѣки в общественной памяти мѣткими выраженіями и оборотами.

Когда Грибоѣдов почувствовал, что идея, цѣльная и сильная, вполнѣ созрѣла, и настала пора закончить творческую работу, он удалился в деревенскую глушь, тульское имѣніе Бѣгичева; там написаны были лѣтом 1823 года послѣдніе два акта „Горе от ума", прошедшіе через горячую импровизацію ярких и острых стихов и через смѣнявшую ее работу их пересмотра и огранки, „пока не сдѣлаются они гладки, как стекло". Но чѣмъ шире и смѣлѣе развертывалось в цѣлом его созданіе, тѣм яснѣе становилось, что цензурные тиски закроют ему доступ на сцену; не сдаваясь и рѣшив миновать ее, но высказываться сполна, Грибоѣдов сознательно переходил к рѣшенію сдѣлать из своей комедіи

„пьесу для чтенія" и этим путем открыть ей доступ в массу. Таков смысл позднѣйшаго его заявленія, найденнаго в черновых бумагах: „первое начертаніе этой сценической поэмы, как оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія, чѣм теперь, в суетном нарядѣ, в который он принужден был облечь его". В этом убѣждают и драгоцѣнные первообразы многих монологов и сцен (напр. поразительной силы монолог Чацкаго послѣ того, как, он узнал, что его ославили безумцем: „О, праздный, жалкій, мелкій свѣт" и т. д.), которые сохранены „первоначальным текстом" комедіи, первыя свѣдѣнія о котором стали доступны потомству по бѣгичевской рукописи лишь полъ вѣка спустя (с 1874 г.).

Заботливо охранял писатель свое любимое твореніе, посвятив в тайну лишь двух, трех ближайших людей, — сестру, Бѣгичева с женой. Но пустая случайность, непрошенное, досадное вмѣшательство свѣтскихъ вѣстовщиков и артистов сплетни (прежде всего гр. Вьельгорскаго, как-то напавшаго на слѣд рукописных страниц пьесы) с неимовѣрной быстротой огласило на всю Москву появленіе безпощадной сатиры, которая, как говорили, направлена против московскаго общества, вліятельныхъ людей вообще и всего духа современности. Когда все загудѣло, заволновалось, тайна была раскрыта, оставалось пойти навстрѣчу всѣм случайностям пріема комедіи большою публикой; раз всенародная гласность суждена была ей, понятно искушеніе, которому поддался писатель, выступить, опираясь на могущественное содѣйствіе сцены, перед толпой, — и вмѣстѣ с тѣм наложить руку на комедію, принести извѣстныя жертвы. „Ребяческое удовольствіе слышать стихи мои в театрѣ, желаніе им успѣха заставило меня портить мое созданіе, сколько можно было. Такова судьба всякаго, кто пишет для сцены"! восклицал он в том авторском наброскѣ, гдѣ высказал мысль о первоначальном „великолѣпном и высшем значеніи" своего произведенія. Поддаваясь искушечію, он спѣшит в Петербург, принимается хлопотать о принятіи комедіи на сцену,—и вынужден к измѣненіям, ослабленію слишком рѣзких мѣст, даже исключенію их,— настоящей пыткѣ для

автора. „Надѣюсь, жду, мѣняю дѣло на вздоръ, пишет он Бѣгичеву, так что во многих мѣстах краски мои совсѣм стираются, сержусь и возстановляю стертое, так что, кажется, работѣ, конца не будет, но будет же, добьюсь до чего-нибудь"!

Восторги и негодованіе, гордость внезапно раздавшимся свободным словом, облегчавшим удрученное общее настроеніе, и порывы мщенія, извѣтов, проклятія, окружали комедію до перехода на всенародную арену. Она едва вышла, казалось, из состоянія перебѣленнаго черновика, рукописнаго текста, но носилась уже во многих списках по всевозможным слоям общества, становилась не только событіем дня, но видимо входила в круг важнѣйших твореній, когда-либо созданных русским народным геніем; навстрѣчу ей поднималась враждебная и злобная агитація, стремившаяся подавить, задушить, искоренить ее,—в то время как комик, весь охваченный надеждой доставить ей широкую сценическую гласность, продолжал, вмѣстѣ с перемѣнами, даже творить, улучшать, развивать написанное (такова превосходная сцена Лизы с Молчалиным перед развязкой пьесы, импровизованная автором на пути в Петербург), вѣрил, во что бы то ни стало, в возможность „добиться чего-нибудь". Жестокое разочарованіе ожидало его.

При дружном натискѣ и протестах встревоженнаго и негодующаго барства, клевретов реакціи, ненавистников свободной мысли, — при агитаціи, вступавшейся за честь общества, Москвы, русскаго имени, за нравственность, за поруганные устои національной жизни,—московском мятежѣ против комедіи, выдвигавшем и в петербургских своих ябедах и воплях соображенія высшей политики, пугая недовольствомъ всего дворянскаго сословія, и встрѣчая в правительственных кругах встревоженный отзвук, защита свободнаго слова сатиры, при всѣх жертвах, на которыя готов был ради нея пойти ея творец, была обречена на полную неудачу. Молох александровской цензуры, опустошительно свирѣпствовавшій над литературой дня, с особой яростью устремился на новаго врага, нанося ему одно пораженіе за другим. От комедіи, как произведенія книжнаго, письменнаго, еще уцѣлѣл торс, — нѣсколько отрывков, ко-

пущенных, послѣ предварительной чистки и многих искаженій, к печати в булгаринском альманахѣ „Русская Талія", вопрос же о принятіи „Горя от ума" на сцену встрѣтил безусловное, неумолимое запрещеніе. Не помогла усиленная агитація автора, который, как Мольер, пытавшійся преодолѣть такія же препятствія и враждебную стачку из-за „Тартюффа", или Бомарше, когда он шел на пролом, спасая „Свадьбу Фигаро", читал во многих собраніях свою пьесу, вызывая к ней общественное сочувствіе; не помогла и поддержка нѣсколькихъ вліятельных лиц, в том числѣ Паскевича. Великой комедіи предстоял долгій искус, из котораго лишь в слѣдующее, желѣзное царствованіе она выходила, сначала только по частям, на сценическій простор, пока не сложились эти части в цѣлое, правда, искаженное, старательно обезвреженное, далеко отстоявшее в театральном своем нарядѣ от силы и величія основного, „литературнаго" текста. Но общественная мысль, всенародное сочувствіе сумѣли, с возраставшей в двадцатые годы интенсивностью поддержки вольной, не печатной литературы, при помощи которой гражданственная поэзія Пушкина или Рылѣева облетала всю грамотную Русь, преодолѣть запреты и гоненія; онѣмѣвшая для печати, безмолвная для сцены, комедія стала в десятках тысяч списков общим достояніем, выдающимся фактом передовой словесности.

Тяжелое, оскорбленное, гнѣвное настроеніе, вызванное в Грибоѣдовѣ ударом, разбившим всѣ его надежды, отрѣзывавшим выход к дальнѣйшей дѣятельности, мыслимой, возможной лишь в том же общественно-полезном направленіи, так понятно! Оправиться от этого удара, сладить с ним, поставить на своем, не поддаться, было не легко; душевное состояніе, овладѣвшее им к порѣ неизбѣжнаго разставанія с русской жизнью, в которой он задержался так долго, для кавказской своей службы, мучило его невыразимо. Оно усиливалось необыкновенно под вліяніем горя и гнѣва, которые возбуждали испытанныя вблизи и видимо возраставшія удрученія отечества; среди них судьба его собственнаго творенія, как жертвы свободной мысли, была одним из пе-

чальнѣйших примѣров. Всегда негодуя на тѣх, кто „хочет держать народ наш в младенческом состояніи", на поработителей его, опирающихся на беззаконіе, произвол, невѣжество, он видѣл, как зловѣще развивалась их разрушительная работа, и дух протеста, противодѣйствія, охватывал его. Единство взглядов и убѣжденій крѣпко сблизило его в эти годы жизни на сѣверѣ с лучшими из руководителей общественнаго движенія, организовавшаго уже два своих главных центра, сѣверное и южное общества; с иными связывала его ранняя дружба, других он узнал, оцѣнил среди наступавшаго уже пролога к борьбѣ. Не открыв ему всѣх своих намѣреній, они высоко ставили его гражданственность, которая являлась для таких беззавѣтных поклонников широкой и всеобщей свободы, как Рылѣев, предметом настоящаго культа; они часто и много бесѣдовали с ним о насущных политических задачах („видѣл часто смѣлыя их сужденія на счет правительства, в коих брал участіе, осуждая то, что казалось вредным, и желая лучшаго", обобщил он впослѣдствіи на допросѣ в слѣдственной коммиссіи свои сношенія и обмѣн мыслей с декабристами), и знали, что немедленное осуществленіе одинаково дорогих им задач считал он преждевременным, недостаточно подготовленным, и несмотря на это гордились таким союзником. Не говоря уже о том, что они видѣли в нем всѣ задатки выдающагося гражданина, понимая, что, на ряду с мудрым и сильным душою Чаадаевым, и он был бы „в Римѣ Брутом, в Аѳинах Периклесом", они (в особенности младшее поколѣніе) черпали свои вольнолюбивыя мысли из грибоѣдовской комедіи (указывая на это, как сдѣлал напр. Штейнгель, на допросѣ об их источниках) наряду с пушкинской политической лирикой.

Мысли о судьбѣ отечества, близость с заступниками за его освобожденіе, и сознаніе безпросвѣтности его создавали атмосферу, проникнутую тревогой, которая, в связи с впечатлѣніями вынесенной писательской муки, облекая всю духовную жизнь его, столь склонную и до того к меланхолическим приливам, великим мраком. В таком настроеніи и смутном ожиданіи кризиса покинул он сѣвер, чтоб

вернуться к кавказской службѣ, умышленно удлиняя обратный путь, чтоб отдаться во время посѣщенія Кіева сильному дѣйствію славной старины на его историко-романтическія увлеченія и пожить в прошлом, или забыться в художественных, археологических и поэтических впечатлѣніях Крыма, но Кавказ принял его наконец в свою среду, с величественной природой, умирающей горской вольностью, богатырским молодечеством покорителей и насаждаемой ими лже-культурой, которую он презрительно называл „барабанным просвѣщеніем", стремясь всѣми силами противодѣйствовать ей в духѣ истинной цивилизаціи. Чудный и несчастный край, к которому его повлекло, сначала безотчетно, с перваго его посѣщенія, уже втянул его в свой „военно-народный" быт, повел его с ермоловским штабным міром из экспедиціи в экспедицію, когда позади, далеко, на родинѣ, грянули пушки, задушено было возстаніе его друзей и идейных сообщников, заработали николаевскіе пытатели и палачи, и на всю Русь раскинулась развѣдка корней, нитей и вѣтвей заговора. Она не могла миновать Грибоѣдова. Появленіе фельд'егеря, который должен был доставить его верховной слѣдственной коммиссіи, безрезультатный обыск у арестованнаго предупрежденнаго Ермоловым, и успѣвшаго уничтожить всѣ уличающіе документы, бѣшеная скачка по Россіи с жандармским спутником, заточеніе — сначала при Главном Штабѣ, затѣм в Петропавловской крѣпости,—долгій и тягостный искус, во время котораго его не вызывали к допросу, не предъявляли обвиненіи, наконец кризис предстоявшей расплаты за вольномысліе, вызванный грибоѣдовскими отвѣтами перед Шемякиным судом, смѣняясь и, казалось, все сильнѣе удручая, вызвали в нем наоборот закал неподдающейся отваги и отпора. Но, бережно охраненный от опасности самими повстанцами, Грибоѣдов встрѣтил,—странно и неожиданно,—сторонников и защитников среди судей и слѣдователей; первоначальный текст его заявленія в отвѣт на коммиссіонные вопросы, заключавшій в себѣ опредѣленныя указанія на существовавшія связи, исчез, и, под вліяніем благожелательных внушеній замѣнен был болѣе сдержанной, но не сдававшей вовсе идей-

ной основы, второй редакціей. Встрѣчныя, опровергавшія друг друга, показанія участников заговора не дали рѣшить вопроса, принят ли был Грибоѣдов в состав общества. Даже сама комедія привлечена была ревностными защитниками его для снятія всяких подозрѣній. Тот, кто так безпощадно осмѣял репетиловскую братію, с ея „государственным дѣлом", не мог, говорили они, сочувствовать декабрьской революціи! Искус, снова как то судорожно возобновившійся перед окончательным избавленіем вслѣдствіе новых обвиненій, кончился; возстановленный в правах, но разбитый душевно, тоскующій о судьбѣ заточенных друзей, (глубоко грустное стихотвореніе, обращенное к одному из них, А. Одоевскому, полно, этой гнетущей тоской), мучимый предчувствіем тяжелой участи отечества при новом порядкѣ вещей, начинающемся с террора, томимый безцѣльностью личной своей жизни, в которой порвалось все важнѣйшее, святое, сильное, в глубокой ипохондріи провел он первое время своей свободы на балтійском взморьѣ, в полном одиночествѣ, и затѣм, снова медлительно, направил сяпривычным кавказским путем к своему служебному дѣлу.

Великій писатель, дѣятель общественный умер в нем. С ужасом чувствовал он болѣзненную атрофію творческих способностей. У него было что сказать людям, но мысли не воплощались, перо не повиновалось; являлось сомнѣніе, „умѣет ли он писать". Чуждая раскаянію Фонвизина, Гоголя или Толстого в мнимых своих писательских заблужденіях и отреченію их от содѣяннаго, его, как одного из главарей литературы, постигла одинаковая с ними душевная драма, которую выносил он до конца жизни. На немногих стихотвореніях послѣдних лѣт, на трагедіи „Грузинская ночь," сохранившейся в двух отрывках и пересказѣ сюжета, обставленнаго старым феодальным строем Грузіи, рѣзко, самоуправно, мстительно настроенными главными характерами, грузинской демонологіей, отзвуками шекспировскаго „Макбета", лежит печать творческих исканій, направленных в иную сторону, в сумрак трагизма, зла, печали, — исканій, которым не суждено уже было цѣльно и сильно проявиться, тогда как они отстранили настоящее, боевое призваніе пи-

сателя общественнаго, владѣвшаго умами, стража народной совѣсти. По землѣ словно бродила тѣнь прежняго Грибоѣдова, неузнаваемаго в исполнительном, — правда, культурно чутком,—чиновникѣ, наряду с привычной дипломатической работой, спеціализированной на русско-персидских отношеніях, много потрудившемся для блага Кавказа и его инородческаго населенія, приближенном к его владыкам, Ермолову, затѣм Паскевичу, с участіем, в качествѣ свидѣтеля, в военных операціях. Завѣтныя думы, чувства, интересы, скрывались за холодной, словно застывшей внѣшностью.

Война с Персіею, неизбѣжная, по его мнѣнію, и им предсказанная, отвлекла его в иную сторону, вызвала большое напряженіе сил, потребовала дѣятельной, подвижной жизни, замѣнила томительное повседневное существованіе драматизмом борьбы, опасностями, волненіями. Спутник войск, очевидец, чуть не участник боев, он отдался всѣм перипетіям войны с холодной неустрашимостью, которая изумляла старых кавказцев и во время горских походов и экспедицій, в которых он обязан был участвовать, то чуть не воин-волонтер, то, во время переговоров о перемиріи, потребовавших большого искусства и состязанія с хитроумієм Аббаса-мирзы, дипломат, передавшій в интереснѣйшей дѣловой реляціи этот поединок свой чуть не в формѣ политической комедіи с живым діалогом, то, послѣ ряда больших русских успѣхов и завоеваній, вершитель мира, автор Туркманчайскаго договора, он оставил во всем слѣды все еще скрытой, сосредоточенной в нем энергіи. Но вызванная, возбужденная чрезвычайными обстоятельствами, она упала с их устраненіем, уступила мѣсто прежней грусти, болѣзненному сознанію своего писательскаго упадка, равнодушію, жаждѣ отдыха, удаленія от дѣл, полной перемѣны условій, продолжительнаго путешествія на европейскій запад. С такими мыслями и желаніями явился он в послѣдній раз на сѣвер, не с жандармской эскортой, как прежде, а во славѣ и ореолѣ, как офицаіьный вѣстник мира, всецѣло им добытаго, с умыслом снаряженный в Петербург Паскевичем в разсчетѣ на чрезвычайныя милости ему и на-

грады. Но пришел он туда не за избавленіем и заслуженным отдыхом, а за своим смертным приговором.

Вслѣд за милостями и наградами, цѣлым потоком излившимися на него, ему пред'явлена была воля новаго владыки, назначавшаго его, в виду безспорно выдающейся компетентности в персидском вопросѣ, посланником в только что разгромленную, униженную и дышавшую местью Персію. Вызов к новой и трудной работѣ прозвучал для него, как зловѣщее memento mori; неизбѣжность кровавой отместки ему, как главному виновнику несчастій персидскаго государства, предстала перед ним,—но и условія новаго строя, в которыя вовлекла его, всегда независимаго, судьба, были таковы, что отклонить назначеніе, при всѣх его стараніях избавиться, настоять на своей отставкѣ, стало, особенно послѣ недавняго тріумфа, невозможно; не было и лиц, на знаніе и опытность которых мог бы направиться выбор. Нужно было идти туда, гдѣ ждала вѣрная гибель. Он и пошел этим путем, так же безтрепетно, как под горскія или персидскія пули, как под злорѣчіе и мщеніе своих русских врагов. Прощаясь с друзьями на послѣднее разставанье, он говорил им о неизбѣжно ждущей его рѣзнѣ („я знаю, придется поиграть ножами",—il faudra jouer des couteaux), о том, что „в Персіи его могила".

Прелестная идиллія, посланная ему судьбой чуть не на краю этой могилы, послѣдній луч свѣта, озарившій его треволненную жизнь, единственное, истинное счастье, которое он извѣдал в жизни,—мгновенно вспыхнувшее чувство любви к дочери его давняго друга, кн. Чавчавадзе, — едва распускавшемуся цвѣтку,—напоминавшей ему чудную головку пастушки на любимой картинѣ Мурильо,—разгорѣвшіяся снова мечты, болѣзнь, над которой нѣжно склонялось любящее и заботливое существо, брачное торжество в тифлисском соборѣ, свадебное путешествіе во главѣ несмѣтнаго каравана по персидской глуши, и первая стоянка в старом „дипломатическом монастырѣ", Тавризѣ, свидѣтелѣ прежняго одиночества и гнетущей грусти,—совершенно необычный пролог бурно развившейся потом трагедіи. Романтика первых недѣль, прощаніе ненадолго с женой, за которой

он пріѣдет и повезет ее в семейный свой уют в Тегеранѣ (по пути, из Казвина, он написал ей чудесное по нѣжности и ласкѣ письмо,—послѣднее, гдѣ слышится нам его голос), отдѣлены от кровавой развязки всего одним мѣсяцем. С ураганной быстротой понеслись событія, переходившія от чествованій и двуличных униженій перед представителем побѣдившаго государства к бѣшеному взрыву мщенія злѣйшему врагу народа и религіи. Начертав себѣ и продумав предстоящій образ своих дѣйствій, пересиливая и примучивая себя, чтобы не выйти из внушительной роли строгаго и требовательнаго защитника русских интересов и государственной чести, и сознавая, в то же время, что не создан и не способен для такой дѣятельности, не знает умѣренности и поддается порывам своего темперамента, он все дальше заходил в политикѣ укрощенія и обузданія персов, полагая, будто иначе не может и не должен поступать при данных условіях, вдаваясь в излишества и напрасныя раздраженія. Тренія и несогласія с правительством, недовольство, перешедшее в гнѣв самого шаха, старозавѣтнаго деспота видѣвшаго, что его власть не уважают, ряд столкновеній из-за плѣнных и разных бѣглецов из дворца и гаремнаго міра, шахскаго и знатнаго, искавших, в качествѣ русских подданных, убѣжища в посольствѣ, в особенности одного из главных евнухов, армянина, просившаго помочь ему вернуться в Россію, чье предательство вдвойнѣ тревожило, так как он знал слишком много дворцовых тайн, продѣлки мелких агентов и прислужников посла, подражавших его дѣйствіям, не понимая ни смысла, ни цѣли их,—все слагалось в негодующее представленіе о насильниках, становящихся выше закона, о необходимости отпора и мщенія.

Когда в замысел о нем вмѣшалось духовенство, и наряду с заклятым политическим врагом Грибоѣдова, Алаяр-ханом, стал руководить агитаціей в народѣ религіозный глава, мужджехид, развязка страшно ускорилась. Муллы фанатическими своими рѣчами к толпѣ во всевозможных ея скопищах разжигали страсти, призывая к мести. Грибоѣдов, поняв опасное значеніе таких симптомов недовольства, за день до катастрофы пригрозил дипломатическим разрывом

правительству, неспособному охранить безопасность русскаго посольства,—но ничто уже не могло остановить разбушевавшейся массы, которая встрѣчала и со стороны высшей власти, склонной народною демонстраціей обуздать врага, пригрозить ему, не разсчитывая, вѣроятно, на разгул звѣрства и рѣзню, если не содѣйствіе, то самое широкое попустительство. 30 января 1829 года, послѣ одного из самых пламенных призывов мстить, обращенных яростным проповѣдником к стотысячной толпѣ, наводнившей базарную площадь, смежныя улицы, крыши домов, она стихійно ринулась, не повинуясь уже руководителям своим, в узкій, тѣсный переулок к дому посольства, смяла персидскую его стражу, примкнувшую затѣм к народу, завязала яростный бой с малочисленной казачьей охраной, преграждавшей вход, поголовно истребляла всѣх русских, нагромождая гору трупов и ища главнаго, ненавистнаго своего врага. С всегдашней неустрашимостью Грибоѣдов, вооруженный саблей, бросился вниз, нанося безсчетные удары нападавшим, был узнан, изранен, изуродован, брошен на гору мертвецов, среди которых можно было потом признать его тѣло только по сведенному давно на дуэли в Тифлисѣ пальцу. Насытив мщеніе, толпа словно опомнилась, очнулась, испугалась, обыскала весь посольскій поселок, ища свидѣтелей своего злодѣйства, увѣрила себя, что никто не может выступить ея обвинителем (он явился на другое же утро в лицѣ совѣтника посольства Мальцова, с невѣроятным усиліем гдѣто укрывшагося от нападавших и грозно выступившаго перед шахом), что истребленіе было повальное, отхлынула от мѣста ужасов и растеклась по городу.

Через нѣсколько мѣсяцев грузинская арба, запряженная волами, ввозила в русскіе предѣлы тѣло несчастнаго великаго человѣка. На перекресткѣ пути ея в Тифлис, гдѣ утомленной жизнью Грибоѣдов так желал себѣ послѣдняго пріюта на горѣ св. Давида, с раскидывающейся оттуда чудной панорамой снѣговой Кавказской цѣпи, фантастической громады восточнаго города, змѣино-золотистых извивов Куры,—бѣдную погребальную процессію неожиданно встрѣтил около Гергер Пушкин, направляясь в

Эрзерум, и, потрясенная печальным этим напоминаніем о развязкѣ судьбы давняго своего друга, мысль его понеслась назад, к юности и первым встрѣчам, освѣтила всю его жизнь, необычайность дарованія, „неописанное дѣйствіе, произведенное комедіей, вдруг поставившей его наряду с первыми нашими поэтами“, „бурные послѣдніе годы“, любовь и смерть, так рано все порвавшую. Глубокая дума, трогательное сочувствіе и сожалѣніе овладѣли поэтом. Гибель, „постигшая Грибоѣдова посреди смѣлаго, неравнаго боя“, чудилось ему, „не имѣла ничего ужаснаго, томительнаго“, смерть „была мгновенна и прекрасна“. Личное недовольство судьбой сдѣлало для Пушкина завидной участь товарища, в храброй борьбѣ избавившагося от ея тяготы; связь кровавой развязки с несчастной политической фикціей, овладѣвшей свѣтлым умом Грибоѣдова, освѣщает иначе для потомства исход тегеранской трагедіи. Он разгромил великія силы мысли и творчества, казалось, осужденныя на болѣзненный застой и атрофію, но, при начинавшемся снова подъемѣ его духа, быть может, призваныя к возрожденію. Треволненія и недочеты жизни не дали им осуществить во всей полнотѣ заложенную в них мощь, но тот „божественный глаголъ“, который прозвучал нѣкогда в великой комедіи и продолжает владѣть нами с неослабѣвающей силой, как завѣт художника - гражданина, и вошедшій в круг произведеній всемірной литературы, воплощавших вѣчный трагическій конфликт личности с обществом, проповѣди свѣта и свободы с застоем и гнетом, образ Чацкаго, соединяющаго лучшія черты таких подвижников, как Радищев, Н. Тургенев, Рылѣев, Бѣлинскій, Герцен, Добролюбов, Чернышевскій, и (как находил Гончаров в своем знаменитом этюдѣ о „Горѣ от ума“) неизбѣжнаго в эпохи обновленія,—вѣчные памятники когда-то промелькнувшаго среди нас геніальнаго человѣка.

3-80

6592

3-50

22.04.59

3,5

Книга
книготорг
Магазин № 18
к 35

ИНТ. 3

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
0002375389 5